

«Мы закрутились в каком-то странном межвременье...»

Интервью с Вадимом Леонидовичем Цымбурским. Февраль 2004 года.
Беседовали М.Г.Пугачева и С.Ф.Ярмолук.

– *Для начала, Вадим Леонидович, возможно, странный вопрос: кем вы себя считаете? По вашим публикациям это довольно не просто определить.*

– Я считаю себя политическим писателем.

– *Образование философское?*

– Классическая филология. Кафедра Тахо-Годи. Окончил Московский университет, потом аспирантура, защита кандидатской диссертации «Гомер и этногенез в северо-западной Анатолии». В соавторстве с крупным ученым Леонидом Александровичем Гиндиным (уже после его смерти) выпустил книгу «Гомер и Восточное Средиземноморье». И долгое время сознавал себя исключительно как филолог-классик.

– *А почему переключились на философию, политологию?*

– Мы с мамой обменяли довольно неплохую квартиру в Белоруссии на однокомнатную в Подмоскovie, где живем и до сих пор. Работы здесь для меня не было. И в это время один мой знакомый, который создавал «под себя» лабораторию в Институте США и Канады (она называлась «Лаборатория структурного анализа и моделирования политических и управленческих решений»), сказал, что у него есть для меня место «мэнэеса». Туда я и пошел. С этого началось мое включение в политологическую среду.

– *И каково ваше понимание современного мира? Как вы охарактеризовали бы важные, с вашей точки зрения, тенденции мирового развития и российские реалии?*

– Давайте так: я просто расскажу, над чем работал последние десять-пятнадцать лет, что пытался осмыслить в своих основных публикациях. Это, наверное, и станет ответом.

В конце 80-х годов я внутренне почувствовал свое неприятие происходивших в стране процессов. До сих пор помню, как стою на ступеньках Ленинки и вижу шагающую на меня толпу с лозунгами: «Горбачев, не завидуй всенародной любви к Ельцину!», «Попы марксистского прихода, почем наркотик для народа?». Несут плакат – разорванные цепи, написано «Коммунизм – наша цепь». Ленинка еще нормально функционирует, в нее еще нормально приходят книги и журналы из самых разных концов зарубежья. А мимо идут эти люди, и я чувствую исходящую от них опасность. Это 90-й–начало 91-го... В 89-ом году я умудрился в порядке так сказать научного визита вместе с другими людьми из нашего института побывать в Эстонии. Я видел, как там нарастала атмосфера той «поющей революции». Я общался с людьми из Интерфронта, и меня поразило, насколько симпатичны и умны были эти люди по сравнению с их оппонентами. Я видел ту ночную зимнюю Эстонию, когда на вопрос по-русски: «Как пройти к вокзалу?» – от тебя шарахались, и кажется, даже эстонские кошки на тебя агрессивно мявкали из подворотен. И вот теперь, уже в Москве, я ощущал, как нависает опасность. В то время мы с Гасаном Гусейновым (сейчас он трудится где-то в Германии) и Денисом Викторовичем Драгунским разрабатывали целую парадигму. Либерально-имперскую, если угодно. Тогда впервые прозвучали слова о

кольцевой системе «Демократического Севера», – та идея, что потом озвучил Анатолий Борисович Чубайс. Забавно! Для меня все шансы либерального империализма канули в 91-м году – это было концом подобных исканий, было шоком, да, но не скорбью по России-СССР. Пока масса людей кричала о том, что Россия рухнет и так далее, я отчетливо осознал, что вот эта сжавшаяся Россия – моя страна, и я хочу в ней жить. Когда в 92-м году критики правительства талдычили, как важно сохранить единое пространство, во всякого рода дискуссиях я задавал вопрос: зачем – единое пространство? Как оно будет работать на Россию, проступившую на карте при нас? На исторический смысл этой проступившей ядровой России? Меня поражали выпяливавшиеся на меня при этих вопросах глаза и болтовня либо о конце великой Евразии и приходе «Анти-России», либо о национальном государстве, смене цивилизационного кода, «демократии вместо империи», и прочий репертуар тогдашней тусовки.

В 93-м я написал статью «Остров Россия», которая была опубликована в журнале «Полис», а потом перепечатана в четырехтомнике «Иное». Что здесь для меня было самое главное? Поразило сходство в конфигурации вот этой России, возникшей после 91-го года, с Россией, условно говоря, середины XVII века, до Переяславской Рады. Это было государство первых Романовых, уже с Сибирью, уже вышедшее в Приморье, и лишь непонятно, по эту или по ту сторону Тихого океана оно остановится в своем разрастании. Государство, которое в пределах Балто-Черноморья двигалось к Черному морю и заглядывало на Ближний Восток, но при том абсолютно не смотрело в сторону Европы с точки зрения возможного проникновения, прорастания в нее. Меня позитивно впечатлило это сходство, и впервые возникла мысль, что, может быть, исчерпался некий огромный цикл, по-своему великолепный и оригинально о себе заявивший, но безнадежно закончившийся, под которым нужно подвести итоги. Развитие этой мысли было таким. Если взглянуть на Россию как она есть, Россию, отделенную от Азии трудными пространствами Сибири, русской Северо-Восточной Азии, Россию, отделенную от великих азиатских цивилизаций поясом южных гор и пустынь, а от коренной Европы романо-германских народов поясом племен, ни к той ни к другой генетически не принадлежащих (балтов, западных и южных славян, мадьяр и так далее) – то эта Россия предстает перед нами гигантским островом внутри материка, островом, прижавшимся, как отмечали евразийцы, к Ледовитому океану, но в то же время дистанцированным и отдаленным от всех других цивилизационных платформ, образующих как бы некоторую единую цепь, протянувшуюся по берегам незамерзающих океанов. Мысль моя состояла в том, чтобы рассмотреть, если угодно, всю нашу имперскую историю через призму того паттерна, который вырисовался в 1991–1992 годах. Рассмотреть, что, собственно, Россия делала в те века не так, в результате чего она должна была откатиться к древним рубежам и к этому «островному» состоянию. Вот главная постановка вопроса. Я исходил из того, что Россия совершила один глубочайший, так сказать, грех, вообразивши себя после Петра Великого Европой. Ибо – вообразивши себя Европой – она устремилась к участию в политике коренных европейских романо-германских народов. Устремившись к этому участию, она неизбежно должна была проецировать силу на основную европейскую платформу и включаться в европейскую игру. А для того чтобы проникнуть туда, в Европу, она должна была перешагнуть через пояс территорий и проливов, которые я называю *strait-territories* и *stream-territories*, и должна была так или иначе их поглотить и без разбора инкорпорировать. С этого момента, с XVIII века начинается эпоха постоянного всасывания Россией в себя территорий, не органичных ей цивилизационно, что предполагало разжижение ее цивилизационной основы, включение массы людей, в значительной степени ей чуждых и не понимающих ее первоначальных цивилизационных интересов и установок. Константин Леонтьев когда-то говорил, что, силясь включить западных и южных славян, Россия просто элементарно подрывала свое существование. То же касалось и массы иных, вобранных Россией лимитрофных народов.

Таков был основной, фундаментальный тезис «Острова Россия». Многие из этой моей работы вошло в последующие: идея «трудных пространств»; идея *strait-territories* и *stream-*

territories, отделяющих Россию от других народов; идея «похищения Европы», которой было одержимо российское сознание и которая выливалась в самые разные, взаимоисключающие формы, от очевидной и наглой агрессии до готовности расточиться, раствориться, сократиться до какого-то кусочка, например, до Урала, – лишь бы в Европе, лишь бы в нее войти, вписаться, встроиться. Я считал и считаю, что это все одинаково бесовские патологии, которые исказили, извратили цивилизационные установки, заложенные в XVI-XVII веках.

– Вас привела к этому ситуация в современной России?

– Я понял твердо только одно: нынешняя Россия с ее намерениями стать Европой просто не осознает, что для этого ей надо было, извиняюсь, зубами и когтями сохранять все территории, которые она покорила, вплоть до Польши. И тогда никто бы не усомнился, что она – Европа. Россия, когда ее танки стояли в трех днях пути до Ла-Манша, была очевидной и явной Европой. Кстати, лозунг «европейского дома» впервые прозвучал не из уст Горбачева, а из уст Брежнева в 80-м году во время его визита в ФРГ. Лозунг был такой: у нас общий европейский дом, и кто тот безумец, который ядерными ракетами захочет его разрушить. Как раз тогда было очевидно: мы все в европейском доме. Что стало совершенно не очевидно после 91-го.

Итак, это был мой первый заход. Я осознавал, что это время – мое время. И однако я осознавал, что окружающие меня люди – абсолютно не те, с которыми у меня есть какое бы то ни было взаимопонимание. Я практически не видел, каковы могли быть контакты с ними. «Западники» мной воспринимались, простите, просто как дурачки, которые, благополучно сдав все территории, выводившие Россию в Европу, теперь хотят быть европейцами, запершись в какой-то приуральский аппендикс Европы. «Патриотам», которые горланили – ах, матушка Россия потеряла гигантские пространства, гигантские позиции! – я говорил только одно: «Вы хотите повторить тот же круг? Возможно, вы получите его еще раз».

– А ваше, так сказать, кредо?

– В это время я впервые прочитал «Послания» старца Филофея, где была высветлена идея Третьего Рима, и она меня поразила глубиной и адекватностью тому, о чем я говорил. Вы знаете, как возникла на самом деле эта идея? Тогда в Европе распространялись гороскопы, гласящие, что наступает Всемирный потоп. И к старцу Филофею как серьезному эксперту обратились с вопросом – что он об этом думает? Он ответил, что, как известно, рисуемый Апокалипсисом потоп есть не что иное, как потоп неверия и апостасии – отпадения мира от Бога. В этом смысле нечего бояться потопа, писал Филофей, мир давно потоплен. Остался остров, один остров, который стоит над потопленной вселенной, и задача в том, чтобы продержаться на этом острове до того момента, когда сойдет на Землю Небесный Иерусалим. Это удивительно перекликалось с той конфигурацией России, окруженной *strait-territories, stream-territories* и так далее...

Самое интересное, что из этого первого моего задела 91-го года возникла целая программа исследований. Тем более, что он, конечно, не был научным. Это было чисто политическое письмо. Но ведь геополитика и не является академической наукой. Она представляет собой род политической практики, состоящей в том, чтобы воспринимать мир в географических конфигурациях, в которые вложены политические отношения, отношения конкуренции, доминирования, власти и подчинения, а также и сотрудничества. И геополитика – уже не как мировидение, а как политическая практика – состоит в умении конструировать такие образы, создавать их, стратегически их применять. Геополитика в этом смысле – конечно же, не научная деятельность, хотя бы потому, что попперовским критериям фальсификации, проверки на опровержимость она никак не отвечает. Но геополитика, несомненно, способна стимулировать научную деятельность в порядке

выработки тех систем данных, на которые могут опереться геополитические проекты. Достаточно вспомнить: евразийцы, вообразившие, что тюрко-монгольско-русская Евразия представляет некий единый органический мир, сформулировали эту политическую платформу как исследовательское задание, и у Петра Савицкого появились великолепные исследования по структурной географии, у Романа Якобсона – интереснейшее исследование по евразийскому языковому союзу, у Николая Трубецкого – по музыкальной культуре народов этого пространства. Геополитика не наука, но для науки она способна служить интереснейшим заданием. Я бы сказал так: стопами своими она упирается в политическую пропаганду; головой своей она уходит в философию истории и в этом качестве способна давать стимулы академической науке. В моем понимании это просто определенная политическая деятельность и политическое мировидение. В моих работах переплетались политическая эссеистика и собственно научные исследования. Я все время думал, что, может быть, когда-нибудь произойдет расщепление, и я напишу отдельно научную книгу (скажем, историю геополитической мысли в России), а отдельно займусь просто публицистикой. Пока этого не произошло, хотя, думаю, через годик-два, возможно, и произойдет.

Но вернемся к тому, о чем говорил. От модели «Остров Россия» отпочковались три направления моей работы, а одно, совсем новое, проклюнулось уже в 2000-х. Первое – эссеистическое, менее всего научное. Меня интересовала «островная» тема в культуре России – кроме Филофея, которого я, однако же, постоянно держал в памяти. С изумлением я увидел, что, в частности, на всем арабском Ближнем Востоке с IX века н.э. до XVI существовало курьезное представление об острове руссов – Руси, затем уже и о России как об острове, окруженном со всех сторон водами. Когда стал смотреть, откуда это взялось, то вынужден был разделить точку зрения Шахматова и Новосельцева, что речь идет, попросту говоря, о псковском и новгородском ландшафте, окаймленном со всех сторон болотами и озерами, где зарождалась Русь, о которой арабы впервые узнали через хазар. Следующий этап был более удивительный. Я увидел, что в XVI веке у ряда российских авторов существует понятие «великого острова Руси», чего я не знал, когда писал свою работу. И эти авторы – сплошь происходящие из Псковщины и Новгородчины. То есть они распространили на воздвигшееся Московское царство идею своей Руси и как земли, окаймленной естественными физико-географическими преградами, как великого острова внутри континента. Следующий шаг состоял в том, чтобы увидеть простую вещь: ведь любимец мой Филофей тоже псковитянин. То есть это человек, смоделировавший идею «Третьего Рима» по образцу своих псковско-новгородских ландшафтов с каймой озер по горизонту. Я написал после этого статью «От великого острова Руси к прасимволу российской цивилизации», где высказал мысль, что прафеноменом России, прасимволом русской цивилизации в шпенглеровском смысле можно считать не просто бескрайнее пространство, как об этом много писали, а некий «выступ» среди этого пространства, частично сливающийся с ним, частично выпирающий из него (как когда-то написал Шпенглер о старых русских церквях – они торчат, они вырисовываются исключительно по отношению к внешнему миру, выступом своим над ним). Это дало ключ к пониманию московского шатрового стиля XVI-XVII веков. Это дало ключ к пониманию очень многих последующих феноменов – даже к перерождению русской культуры в XVII веке при первых Романовых, которые от идеи острова в потопленном мире обратились к мысли о том, что потопленный мир можно «поднять» (что породило впоследствии все эти эксцессы в виде борьбы со старообрядчеством и так далее). Через эту идею я понял, насколько смог понять, фундаментальный старообрядческий китежанский миф, миф острова, уходящего под воды, собственно – Третьего Рима, уходящего из истории, и антимиф – идею Петербурга, того самого Нового Рима, нового града святого Петра как нечистого города, вставшего над водами и обреченного быть ими поглощенным. Для меня, несомненно, было очень значимо, что Петербург находился в тех самых местах, где лежал древний «остров Русия», где складывался миф Третьего Рима. Получилось большое, обзорное исследование, там много всего – вплоть до «Архипелага ГУЛАГ». Помните, с этим его фундаментальным сюжетом:

райский остров Соловки, встающий над северным морем, преобразается в дьявольский остров, начинает давать побеги, метастазы на континент и завершается чудовищным «архипелажным» образованием. Это было, повторю, первое направление, которое я рассматриваю как герменевтико-публицистическое. Самое важное, что оно меня по-настоящему свело со Шпенглером.

Второе направление – чисто геополитическое. Меня заинтересовало, что представляет собой вот эта система – *strait-territories* или *stream-territories*. Можно ли ее определить не чисто в категориях примитивного силового баланса, что, мол, вот крупное государство, а вокруг него мелкие и более слабые? Тогда я вынужден был обратиться (это 95-й год) к проблеме так называемых цивилизаций. В то время нашумела работа Самуэла Хантингтона с идеей цивилизационных разломов и конфликтов по этим разломам. Я с самого начала считал, что вся эта схематика разломов, которую он выстраивает, совершенно абсурдна, потому что в Европе, на этом пространстве между Россией и ядровым западноевропейским романо-германским и католически-протестантским сообществом, простирается пояс народов, внутри которых вы можете конструировать эти разломы самым разным и самым произвольным образом по политической конъюнктуре. Меня впечатлила судьба хорватов, например: в один век они вместе с венграми поднимаются против австрийцев (все негерманцы); в другой век они с православными славянами идут против венгров и австрийцев – значит уже славянство становится различительной чертой, и всякий, кто не славянин, ближе к коренной Европе; на следующем этапе они переструктурируются, по признаку католицизма сливаются с венграми и австрийцами и разворачиваются против сербов; и как знать, не развернутся ли они на следующем этапе вместе с теми же сербами против, скажем, боснийцев. Абсолютно непредсказуемо. Для меня было ясно, что на этих территориях никаких внятных цивилизационных разломов нет, а та цивилизационная черта, которую провел Хантингтон и которая рассекала бы Украину по реке Збруч (это между униатской Украиной и православной), – совершенно произвольная конструкция. Я понимаю цивилизацию как совокупность народов, политически контролирующую достаточно обособленный географический ареал и притом воздвигающую над этим ареалом специфическую сакральную вертикаль – религию или идеологию, проецирующую само существование данных народов в план конечных целей и вместе с тем исконных первоначал существования человечества, объявляющую такие народы «основным человечеством на основной земле». Между такими ядровыми сообществами цивилизации простираются пояса народов, которые либо к той или иной цивилизации примыкают, либо отталкиваются от нее, но так или иначе не охватываются ни одним цивилизационным ядром. Это народы, которые если включаются в цивилизацию (ну, как, например, западные славяне), то потому, что по тем или иным причинам «ядро» условно благоволило принять их в свой круг. Так называемые кооптированные народы. В том же случае, когда они обретаются между цивилизациями, они конституируют лимитрофное, промежуточное, переходное пространство.

Меня чрезвычайно заинтересовала судьба народов этих переходных пространств. Я отметил тогда рассуждения о лимитрофах молодого, очень интересного, к сожалению, сейчас почти не пишущего воронежского геополитика Станислава Хатунцева. В частности, он первый наметил идею некоего Великого Лимитрофа, который мог бы проходить через Евро-Азию, но при этом все поле бывшего СССР он, как старые евразийцы, принимал за единый цивилизационный мир, а лимитроф для него проходил где-то по землям Афганистана. Я интерпретировал понятие Великого Лимитрофа иначе: в настоящее время мы видим на территории Евро-Азии гигантский пояс народов, не интегрированных до конца ни в одну из крупных цивилизаций – ни в европейскую, ни в русскую (российскую), ни в китайскую (конфуцианскую), ни в индуистскую, ни в арабо-иранскую мусульманскую. Этот пояс начинается, пожалуй, с Финляндии, идет через Прибалтику, Восточную Европу с Крымом, проходит через Кавказ, через новую, постсоветскую Центральную Азию; и дальше естественным его продолжением оказываются земли тюркских и монгольских народов,

обитающих на стыке России и Китая, – как контролируемых сейчас Россией и Китаем, так и суверенных (Монголия); в конце концов этот пояс кончается на Корейском полуострове, и наиболее «прохудившийся» его участок – Манчжурия, которую китайцы успели все-таки изрядно китаизировать (но до поры до времени она принадлежала к этому поясу). Так у меня возникло определение России как земли, которая по отношению к любой цивилизации незамерзающих морей выступает как «земля за Великим Лимитрофом». «Остров Россия» превратился в «землю за Великим Лимитрофом». Потом последовала целая серия геополитических разработок на этот счет. О том, как Великий Лимитроф структурируется на каждом участке. Почему, по каким физико-географическим мотивам отличается его структура на восточно-европейском участке от кавказской, или от новой центрально-азиатской структуры, или от алтайской. Со временем эти разработки трансформировались в геэкономические и геостратегические, когда я обратил внимание на любопытнейший фактор, а именно: распространение американского (шире – атлантического) контроля в Евразии именно по этому поясу. Когда я увидел вот эту новую Восточную Европу как инструмент для американского контроля над коренной Европой, французской и немецкой; когда стало очевидным продвижение американцев в Закавказье и особая роль в данном случае Грузии и Азербайджана; когда американские базы появились в Центральной Азии – меня всерьез заинтересовало, честно говоря, будущее алтайских народов на стыке России и Китая. Потому что представляется совершенно понятным: чтобы достроить эту систему контроля, необходимо обеспечить геостратегические связующие звенья между Корейским полуостровом и Центральной Азией, между базами в Центральной Азии и базами на Корейском полуострове. Я думаю, рано или поздно будут предприняты попытки к тому, чтобы добиться суверенизации этих народов и их перехода под американско-японский контроль.

Вот один из предметов моих раздумий. Некоторое время я размышлял вообще над возможностью стратегического сплочения народов разных цивилизаций Евро-Азии, выходящих на Великий Лимитроф. Это геокультурно холодная программа, как я её называл, которая означала бы союз, не предполагающий никакого особенного духовного братства, но просто опирающийся на альтернативу: либо Великий Лимитроф станет поясом, разделяющим, но в то же время связующим выходящие на него цивилизации, либо он превратится в инструмент контроля над этими цивилизациями в руках внешней силы. Сейчас я думаю, что в результате путинской политики последних лет второй вариант практически неизбежен. Потому наработки по этой теме, которые я успел опубликовать, я пока отложил как мало актуальные.

И наконец – третье из направлений, о которых мы говорим, самое перспективное и интересное для меня лично: «хронополитика» (термин, появившийся с конца 80-х годов), хронополитическое измерение российской геополитики. Если проекты геополитики, её паттерны опираются на неоднородность земного пространства, то конструкции хронополитики опираются на неоднородность времени. Различные циклы, тренды, хронологические динамики исследуются с точки зрения опоры для политических проектов. Или – какие опасности можно усмотреть в этих динамиках и какие выдвинуть контрпроекты, чтобы нейтрализовать эти опасности. Первое, что меня в данном случае здесь заинтересовало: я обратил внимание на то, как «остров Россия» наползает на Европу, как она играет с ним, я увидел в этом некоторую повторяемость и описал её в статье «Циклы похищения Европы. Большое примечание к "Острову Россия"» (в сборнике «Иное»). При Екатерине I в 1726 году был заключен договор, который объединял Россию с Австрией против Франции и Пруссии. Это момент, когда Россия входит в Европу. Даже не при Петре (в своей геополитике он оставался все-таки последним московским царем). С царствования Екатерины I по-настоящему начинается история нашей Империи как европейской силы. В этой истории геостратегия обнаруживает четкую повторяемость, а именно: она членится на изоморфные циклы, притом в каждом из них выделяются три фазы, которые различаются определенным событийным содержанием – специфическим отношением России к

пространству Запада. В каждом из этих циклов фаза А характеризуется тем, что Россия выступает вспомогательной силой в европейском антагонизме, поддерживающей одну какую-то сторону против другой. Играя на этом антагонизме, Россия пытается развернуться в том пространстве, которое было ее стратегическим пространством в XVI–XVII веках, реализовать свои балтийско-черноморские запросы с выдвиганием на Ближний Восток. Первая такая фаза – это, конечно, весь XVIII век, наше участие в европейских играх («Северный аккорд» графа Панина, Греческий проект Потемкина). Вторая фаза – участие в Антанте. Третья – два года пакта Молотова-Риббентропа. Этот период всегда кончается кризисом – европейская война переносится непосредственно на территорию России и захватывает её. Таково вторжение Наполеона; в следующий раз – Брестский мир и походы Антанты, стремившейся прежде всего предотвратить превращение России в германскую ресурсную базу; наконец, вторжение Гитлера. Россия изживает кризис своей первой фазы, и наступает вторая: наша Империя переходит в наступление, пытается выдвинуть свой проект для Европы, реструктурировать европейское пространство на максимально безопасных и благоприятных для себя условиях. Это «Священный союз» (причем, конечно, не только в годы Александра I, но и Николая I); это попытка с конца 1918-го по 1920-й годы (а если расширенно – по 1923) внести большевистскую революцию в Европу, прежде всего в Германию и Италию; и наконец – это ялтинская система. Далее наступает кризис. Европа, объединившись, отбрасывает Россию вспять, и подходит третья фаза (в первом варианте я называл эти третьи фазы «евразийскими интермедиями», потом – просто евразийскими фазами). Россия пытается выстроить свое особое пространство вне пространства Запада и как следствие – конфликтует с теми силами, которые представляют Запад за пределами Европы – с Англией прежде всего, в первом и втором циклических заходах. Тянутся эти евразийские фазы до момента, когда расколотый Запад (по крайней мере часть его) считает для себя благом снова втянуть Россию в свою игру. Впечатление такой дурной имперской повторяемости меня действительно ошеломило. И всякий раз, когда наши геополитики трубили о том, что «ух, как здорово, соединимся с немцами против американской гегемонии, черт побери!» или «соединимся с иранцами, китайцами, индусами и выстроим антизападный союз», на меня веяло теми повторяющимися ритмами Империи, крутящейся аки коза на приколе.

– В этой вашей конструкции Америка как цивилизация играет какую-то роль? Речь, конечно, не о первых двух кругах, ну, а в третьем-то она уже стала игроком.

– Америку я никогда не рассматривал как отдельную цивилизацию. Это, что называется, побег западной цивилизации на другом атлантическом берегу, ее часть. Но с Америкой в моих построениях связано вот что. Меня страшно заинтересовало, почему циклы столь не однородны. Почему, например, фаза А в первом цикле длится весь XVIII век, во втором – занимает десять антантовских лет, а в третьем – два года пакта Молотова-Риббентропа?

– Как говорят сейчас, всё убыстрется.

– Но тогда объясните, если время сжимается, почему вторая фаза во втором цикле практически не развернулась – заняла лишь два-три года, когда большевики пытались внести свою революцию в Европу, – а в третьем цикле она растянулась на всю ялтинскую эпоху, на 45 лет. Извините, принципом «сжатия времени» это не объяснишь. Кроме того, меня заинтересовала особенность той ялтинской эпохи: почему она обнаруживает явственные черты наших европейских максимумов и вместе с тем странным образом – приметы евразийских интермедий? Это настойчивое конструирование «своего» пространства подчеркнуто за пределами Запада, доктрина Брежнева, по сути, выступившая прокламацией

нашей незаинтересованности в судьбах коренного Запада. В чем причины того, что эти фазы обретают какие-то специфические качества от цикла к циклу? И тогда я занялся проблемой милитаристской динамики того мира, с которым играла Россия, собственно, милитаристской динамикой Запада.

– А для вас Россия во всех этих циклах есть нечто однородное, неизменное? Как была при Василии Темном, так и при Путине...

– При Василии Темном России еще не было как геополитического субъекта... Когда мне говорили о возможной зависимости имперского цикла, его темпов от внутренней российской динамики, никаких серьезных доказательств тому не приводилось. За одним исключением – что антантовская фаза быстро пролетела, поскольку ее укоротили революции 17-го года. Но ведь сама февральская революция была спровоцирована определенным геостратегическим аффектом – крепнувшим разочарованием в нашей антантовской принадлежности и распространявшимся в данной связи в 15-м и 16-м годах толками об измене наверху и даже «на самом верху». А почему все-таки наше последующее наступление на Европу выдохлось за считанные годы, уступив место «социализму в одной стране»? Неужели по сугубо внутренним причинам? Или, наоборот, геостратегический крах надежды на скорое «похищение Европы» изменил основную доминанту большевизма? Впечатление таково, что сами внутрироссийские процессы во многом определялись протеканием имперского цикла.

И вот, стараясь объяснить неравномерность этого протекания, я обратился к милитаризму Запада. Меня интересовало – на какие динамики Запада проецируются те циклы «похищения Европы», которые потом я стал называть циклами системы Европа–Россия. Я опубликовал большую, в три печатных листа статью «Сверхдлинные военные циклы и мировая политика», где обратил внимание на то, что начиная с середины XIV века (с осени Средневековья) и до сих пор западная военная политика, западная стратегия, западный милитаризм характеризуются огромными циклами, волнами, длиной каждая в 150 лет, пять поколений политиков и военных. Причем эти волны группируются попарно, и к таким бинарным сверхэпохам в 300 лет можно бы приложить известное санскритское слово «юга», означающее сразу «эра» и «упряжка». До Нового времени встают две такие волны, или два протоцикла, условно 1340-е – 1494 (1495) годы, от начала Столетней войны до начала Итальянских, и за ним второй – 1495–1648. После этого идут также парой волны: 1648–1792, от Вестфальского мира до начала войн Французской революции, и 1792 – 1945. А после этого идет новая волна и с ней, возможно, новая юга, при которой мы живем.

Внутри этих 300-летних юг колеблются эпохальные соотношения между возможностями мобилизации и уничтожения. В каждой юге сперва на 150 лет начинают главенствовать возможности уничтожения – и как следствие перестраивается эталон победы, возникает идея победы как сделки, как принуждение противника к уступкам перед неблагоприятной для него перспективой. Затем на 150 лет торжествуют возможности мобилизации – и рождается идея победы как полного сокрушения, уничтожения противника. Каждый раз изменяется масштаб политических проектов. Каждый раз первая волна – это постепенное угасание великих планов или по крайней мере попытки воплотить их, пропустив как через фильтр, через эталон победы-сделки, и каждый раз вторая волна – это идея, что называется, битвы за радикальную перестройку всего окружающего пространства, всего доступного мира под знаком великих проектов.

Взять первую югу. Внутри нее первый протоцикл (1348–1492) – время, когда появляющееся огнестрельное оружие и мощь лучников, продемонстрированная англичанами в Столетней войне, доминируют над старой средневековой рыцарской конницей. Как велись в то время войны, можно видеть по той же Столетней войне с бесконечными сделками, выкупами, перепродажами, с участием имперского замысла; можно по гуситским войнам, где становилось ясно, что обороняющаяся артиллерия полностью доминирует над любыми

атаками извне; можно судить и по войнам итальянских кондотьеров, которые собирались на поле битвы, взвешивали, сколько сил у того и другого, прикидывали, какие будут результаты, и расходились, подводя итог. Следующий протоцикл той же юги (1494–1648) – эпоха деклассированных наемников, вербуемых в Германии и Швейцарии и бросаемых массами в битву. Картина гигантских войн – чудовищная схватка французов и австрийцев, гугенотские войны, Тридцатилетняя война. То, что американские историки называют «первым прообразом тоталитарных войн XX века». Перейдем ко второй юге. Начальная фаза: в Тридцатилетней войне (в армии Густава Адольфа) впервые прорезается превосходство огня. И затем наступают 150 лет абсолютного доминирования огня над возможностями мобилизации: крупная европейская армия может быть уничтожена огневым валом за день битвы, с аналогичными последствиями и для ее противника; верховенство маневра над битвой, постоянное стремление создать такие неблагоприятные условия для противника, когда бы он сам уступил и попятился, пошел на компромисс; ограниченные высокоманевренные, высокопрофессиональные армии, все эти «войны за наследства» – австрийское, испанское, польское; бесконечные попытки сконструировать расклад сил, который обеспечил бы очевидный перевес той или иной из борющихся сторон. И наконец – после Семилетней войны вообще абсолютный милитаристский пат, все считают, что воевать бессмысленно, нерезультативно, только проливать кровь – война себя не окупит. И далее встает вторая волна той же юги. Сперва это войны Французской революции, которые, отталкиваясь от примера американской войны за независимость, продемонстрировали возможность такого феномена, как «вооруженный народ», возможность массовых вооруженных армий – от пяти процентов населения и выше. Позднее, в XIX веке, этот принцип оказывается рационализированным в виде так называемых кадровых армий, которые относительно немногочисленны в мирное время, а в годы войны достигают от десяти процентов населения до двадцати (в Германии во время Второй мировой войны). И в это время возникают гигантские империалистические и идеократические проекты – от замыслов Наполеона до проектов Третьего рейха, до милитаристских проектов, связанных с Коммунистическим Интернационалом, которые разрабатывались у нас в 1920-х годах. И вслед за тем – очередная понижительная волна, рожденная ялтинской эпохой. То есть мы на самом деле входим в третью Югу, в пятую 150-летнюю волну и переживаем большое понижение милитаристской динамики.

– Ну да!

– Вам не верится просто потому, что вы, как и множество наших современников, подзабыли, как воевалось на предыдущей экспансивной волне, как схлестывались многомиллионные армии лоб в лоб, давя друг друга до безоговорочной капитуляции той, у которой у первой треснет хребет. Мы меряем все происходящее при нас, все эти экспедиции вроде иракской уже утвердившимся зауженным эталоном войны и победы. Но продолжу.

Если взять первые депрессивные 150-летия в югах, то получается, что примерно каждые начальные 50 лет, в первые два поколения происходит трансформация больших имперских заявок в игру «по маленькой». Так было и в Столетнюю войну, и во второй половине XVII века. А третье поколение в этих 150-летних циклах пытается решить проблему большого геополитического и милитаристского строительства в рамках зауженного эталона победы, используя политическую конъюнктуру, технические нововведения и всё подобное, чтобы все-таки шаг за шагом, методом stop-and-go, обеспечить достижение больших имперских целей. То есть сейчас мы входим в такое время, когда люди пытаются решить крупные имперские задачи, играя «по маленькой». Ведь очевидно, что все эти войны, особенно американские, которые уже получили прозвище «кассовых», – это войны без больших схваток, без битв, когда лучше не сходить с противником, а купить его, заставить уйти с поля. Сейчас люди интуитивно усвоили идею того, что в принципе возможности мобилизации уступают возможностям уничтожения, и даже в локальных,

ограниченных войнах пытаются действовать так, чтобы не развязывать потенциал уничтожения во всей его силе и полноте. Как бы заглядывая вдаль, можно задаться вопросом: реально ли на новом уровне возвращение к тем самым тотальным битвам? Я знаю одно, что идущая постиндустриальная революция выбрасывает массу людей из их ниш – как на Западе, так и в связанных с ним странах Третьего мира. Огромное количество незанятых людей. Прежде, в конце Средневековья, из таких масс формировались полчища ландскнехтов, бившихся в войнах XVI века. Потом, после первой промышленной революции, крестьяне, лишавшиеся земли, выбрасывались в города и во многом сформировали армии XIX – первой половины XX веков. То есть в принципе вполне возможно, что нечто подобное наступит, скажем, под конец XXI века – когда можно было бы ожидать начала второй, экспансивной волны нынешней юги.

Самое интересное, на мой взгляд, – то, что международная европейская система во все века перестраивалась сообразно с теми самыми волнами, постепенно эволюционируя к системе мировой. Каждый раз первая волна в каждой юге определяет возможность некоторого образа Европы, европейского расклада, и этот расклад реализуется на второй волне, во вторые 150-летия 300-летней юги. В 1348–1494 годы складывается Европа двух крупных консолидированных территориальных государств – Франции и обновленной Священной Римской Империи, сплотившейся вокруг австрийского ядра. В следующей, повышательной уже волне эти государства сходятся в битве, возникает биполярная Европа противостоящих супергигантов. После 1648 года за следующие 150 лет, когда становится ясно, что ни один из супергигантов не достаточно гигант, чтобы одолеть другого, вступает в игру Англия как европейский балансир; французы энергично взращивают Пруссию, раскалывая восточное ядро Европы, как бы формируя себе союзника, наносящего удар Австрии в спину; в ответ австрийцы втягивают в игру Россию. К 1792 году обозначается возможность новой Европы, где потенциальными лидерами обозначаются Англия, прусская Германия и Россия. В следующие 150 лет эта возможность осуществляется: мы видим, как из европейского расклада вылетают старые игроки – рушится Австрия, Франция перестает быть великой державой. Центры силы сдвигаются за пределы коренной Европы Карла Великого – западный центр уходит на острова Европы, сначала на Британские; с другой стороны, возникает фундаментальный спор между Россией и Германией – кто усвоит австрийское наследство и станет восточным центром Европы. Время этого выбора приходится на нашу первую «евразийскую интермедию», когда Россия оказывается выкинутой из Европы после Крымской войны. И новым восточным центром становится Второй Рейх, а Россия – подспорьем и союзником западного центра, Англии, Антанты. Посмотрим, что происходит дальше, за оставшиеся годы этого цикла. Англия ко Второй мировой войне рушится тоже, обнаруживая неспособность справляться с новой задачей; в качестве западного центра втягивается еще более далекое «островное» государство – Соединенные Штаты. Германия оказывается полностью размолотой, и на очередной депрессивной волне сперва возникает новый расклад европейской биполярности, его представляют с обеих сторон силы, лежащие за пределами Европы: с одной стороны – за Атлантикой, с другой – в глубине Евразии. Тем самым биполярность европейская трансформируется в биполярность мировую. Впервые проступает возможность расклада «West and the Rest», о котором писал Хантингтон. Россия споткнулась при Горбачеве, вернулась к своему «лесному одиночеству», как выражался первый геополитик Халфорд Макиндер, и перестала играть роль «the Rest». Но вся сегодняшняя американская политика, все американское имперское строительство проникнуты идеей, что где-то есть, возникает вот этот «the Rest», возможный противник. Он может осмысляться как угодно – как Россия, вернувшаяся на путь милитаризма, как исламский мир, Китай, даже Япония, как вообще международный терроризм. От юги к юге изменяется формула биполярности: от франко-австрийской к англо-германской и от последней к биполярности «West and the Rest».

– *С противником, не привязанным к территории...*

– Да, даже не привязанным пока к конкретной территории. Впечатление, будто американский глаз отчаянно шарит по миру, высматривая, откуда придет «враг». Мы оказываемся в цикле, когда – не буду говорить «должен» – может сформироваться противник, и при том непонятно, кто им станет. Мы видим, что возникает попытка выстроить новое мировое имперское пространство методами stop-and-go и что – для меня это особенно интересно в связи с работами по Великому Лимитрофу – важнейшей структурой новой империи должна стать структура контроля над протяженностями этого лимитрофа, позволяющая практически все центры силы, привязанные к определенным цивилизациям Евразии, сдавливать с двух сторон: мощью океана и базами с континента. Так строится империя у нас на глазах. Следует помнить, что пока – как и во всех депрессивных волнах – новый расклад кристаллизуется именно что возможностью, которой предстоит реализоваться в будущие века, на экспансивной волне той же юги.

Но вернусь к тому, от чего я отступил. Дело в том, что для меня было очень важно рассмотреть, как вот эти структуры западного милитаризма соотносятся с динамикой системы «Европа – Россия». И выяснилась фундаментальная вещь (в общем ее можно было даже предугадать): всякий раз во время депрессивных, понижательных волн колесо циклов системы Европа – Россия крутится очень медленно. Мы как вошли подспорьем Австрии в XVIII веке в европейский расклад – на депрессивной волне, – так им весь век и оставались. Зато когда начинают подниматься экспансивные, бурные волны, а особенно когда в них еще собственно повышательные фазы, всплески, тут начинается что-то невообразимое. В XVIII веке мы 60 лет пребывали в одной фазе, в XX веке – за 40 лет (1907–1949) «проскакали» четыре фазы и влетели в пятую. Совершенно молниеносно. Однако как только вновь наступает очередная депрессивная фаза под знаком атомного оружия – опять наш имперский цикл тянется медленно-медленно: ялтинская система длилась 45–50 лет, а могла бы и еще дольше. Стало ясно, что Россия геостратегически может характеризоваться как держава, живущая в условиях двоеритмия: в одном ритме она существует в наши имперские века как часть европейского и шире – евроатлантического расклада, входит в систему Запада, поддерживает своими ресурсами постоянную западную биполярность, перерастающую в биполярность всемирную; а с другой стороны – живет собственным ритмом системы Европа – Россия, как бы надстроенным над ритмом западного милитаризма, накладывающимся на этот опорный ритм, взаимодействующим с ним. Как только я это увидел, стала совершенно понятной странная особенность ялтинской системы: в рамках функционирования системы Европа – Россия это наш европейский максимум, мы выдвинулись в Европу предельно, невозможно сомневаться, что мы – европейская держава; в то же время в рамках ритмов западного милитаризма, западной геостратегии получается, что весь коренной Запад собран вокруг Соединенных Штатов под заокеанским зонтиком, нам достались периферийные, маргинальные народы европейского порога, принадлежность которых к Европе в разное время оспаривалась, была под сомнением. Получается, что мы начинаем сочетать черты государства максимально европейского в одном ритме с чертами государства неевропейского, выпихнутого из Европы – в другом ритме. Совершенно естественно, что к началу 90-х годов могла возникнуть идея – а не пора ли отказаться от такого отдельного строительства, сбросить всю эту империю и просто влиться в Европу? Мы не понимали одной простой вещи: Европа – не просто сообщество народов с определенным стилем и укладом жизни; это прежде всего силовая система с определенным раскладом ролей, и мы не задались вопросом, а какой будет наша собственная роль в этом раскладе. Она оказалась неизмеримо хуже роли Германии на предыдущем этапе: ролью государства, утерявшего свою функцию и болтающегося, что называется, как цветок в проруби. Это еще раз подтвердило мои мысли о том, что модель «острова Россия» сейчас может быть максимально осмысленной. Модель государства, уходящего от мирового противостояния, сообщества, для которого лучшее – попытаться остаться в стороне от столкновения «West and the Rest».

– *Каким образом?*

– Свои вопросы (например, чеченский) надо решать именно как свои, а не увязывать их со всемирной схваткой Запада и его, как говорил Тойнби, внешнего пролетариата. Не надо увязывать свою судьбу с судьбой претендентов на униполь. Никто не доказал, что у этих господ и у России одна судьба. Не надо болтать о «единой цивилизации» и общих «угрозах для нее».

Но вернемся к модели двоеритмия. Меня заинтересовало: а не может ли эта модель быть применена и к другим аспектам существования нашей цивилизации – культурным, социальным, например? Не может ли русская культура имперских веков и наша социальность, наша социальная динамика характеризоваться таким же двоеритмием? Не может ли она, с одной стороны, рассматриваться как своеобразное (скажем так – периферийное) отражение тех же процессов, которые переживала цивилизация Запада, а в другом аспекте соответствовать некому имманентному ритму, не вписывающемуся в ритм Запада? Всерьез встал вопрос о принципиальной возможности существования в мире последних веков каких-то территорий с имманентными ритмами. И тут приходится задуматься: а сколько вообще в современном мире цивилизаций и каковы они? Ответить на это можно двояко. Если исходить из броделевского учения о мир-экономиках, о замкнутых экономических системах, то первый ответ звучит так: в мире ровно столько цивилизаций, сколько в нем сообществ, когда-то представлявших миры-экономики. Если когда-то исламский мир представлял автономный мир-экономику, он сейчас и есть отдельная цивилизация. Как и Китай, как Россия. А второй ответ: в мире столько цивилизаций, сколько в нем мир-экономик сегодня. Поскольку она в нем сейчас одна, мир-экономика, охватившая планету, то значит в нем просто одна цивилизация. И тут мне очень помогло рассмотрение концепций двух великих людей – Шпенглера и Тойнби. В чем различие между этими авторами? По Шпенглеру, каждая цивилизация должна пройти через определенные фазы развития, потом претерпеть кризис и сгинуть. По Тойнби, нет никакой предрешенности в том, какие фазы должна пройти цивилизация; важно, чтобы она могла ответить на встречающиеся ей вызовы, и если справится с ними, то будет жить хотя бы и вечно. Меня очень заинтересовало соотношение этих моделей и в первую очередь вопрос: ну, хорошо, вот шпенглеровская цивилизация достигает пика, создает мировую империю в своем пространстве, потом ее разрушают варвары – что происходит с ее народами дальше? И открылся ответ, не предусмотренный Шпенглером. Он звучал так: либо она воздвигает над собой новую сакральную вертикаль, как произошло в Европе, когда вместо совокупности языческих верований появилась христианская вертикаль, и тогда начинается сызнова цивилизационный круг. Либо она остается верна своей прежней сакральной вертикали и тогда попадает в специфическое состояние, когда у нее уже нет никакой шпенглеровской судьбы, она живет по-тойнбиански, реагируя на внешние вызовы, более-менее с ними справляясь, адаптируясь, и в этом состоянии может тянуть как угодно долго. Китай последних двух тысячелетий после падения империи Хань действительно живет уже по ту сторону судьбы, в чисто тойнбианских ритмах. Как и Индия после Гуптов. То есть у любой цивилизации можно выделить фундаментальный шпенглеровский цикл и наступающее за ним уже тойнбианское, на самом деле постцивилизационное существование. А что такое шпенглеровский цикл? Это сперва закладка сакральной вертикали в эпоху аграрно-сословного существования, когда люди в основном делятся на земледельцев, землевладельцев и священников; формирование высокой культуры в рамках этой фазы, формирование высокой теологии, высокой поэзии; затем прорастание городов, революционное выдвижение горожан на ведущую роль в жизни сообщества. Шпенглер называл это фазой «Пифагора–Мухаммеда–Кромвеля» (Мухаммед – действительно пророк городской революции, бедуины фактически за считанные 50-60 лет стали элитой цветущих городов Ближнего Востока, которые подмяли под себя деревню и подчинили своим роскошным рынкам всё аграрное производство). И потом, говорит Шпенглер, эти города

естественно перерастают в космополисы, наступает эпоха космополисов, мегаполисов и империй – когда цивилизация вырождается и утрачивает внутреннюю форму. Наступает натиск варваров, крушение. А после этого уже вопрос: либо вы воздвигнете новую сакральную вертикаль и начнете новый цивилизационный шпенглеровский цикл, либо не сможете этого сделать и тогда просто впадете в тойнбианское постцивилизационное существование. Будете что-то развивать, совершенствовать те или иные отрасли культуры, преуспевать в некоторых отраслях, может быть, даже больше, чем в шпенглеровском цикле (как например Китай в эпоху Тан дал удивительную поэзию, подобной которой в раннем шпенглеровском цикле он не знал), но ничего качественно нового – новых парадигм осмысления Вселенной и человека – вы не произведете.

А какое это имеет отношение к сегодняшнему миру? Вот какое. Если верить Шпенглеру, то можно утверждать, что одна цивилизация из локальной стала всемирной и в рамках этой всемирной фазы достигла своего финального имперского состояния. Но, поглотив мир, она вобрала в него другие цивилизационные сообщества. В каком качестве они существуют? А в разных. Легче всего с китайцами и индусами, уже полторы тысячи лет как выпавшими из шпенглеровского цикла. Как они адаптировались к предыдущим эпохам, к натиску, скажем, арабов, монголов или к приходу англичан, так теперь адаптируются к новой эпохе, выискивая в ней благополучные ниши, которые могут захватить, и встраиваются в них. Интересное явление представляет мусульманский мир. Где-то с начала 20-х годов, когда вместе с Оттоманской Портой рухнула их мировая империя, мусульмане Среднего Востока живут, постоянно помня о ней, пытаются ее восстановить и по многим причинам не достигают этого. Не исключено, что новый Халифат еще возникнет, как на руинах Римской империи поднялась империя Карла Великого. Свою великую городскую революцию пережила Япония (условно говоря, с XII по XVI века), создав классическую культуру в эпоху Токугава и с XIX века вырвавшись в фазу имперского строительства. То есть в этом смысле она полностью синхронизировалась с Западом. Потерпев поражение в попытке создать свою территориальную империю, японцы пошли по самобытному пути – встроились в империю Запада и попытались воздвигнуть над ней свою надстроенную экономическую империю, чтобы паразитировать на западном планетарно-имперском образовании. И наконец, в рамках этого мира есть два сообщества, представляющих, на мой взгляд, наибольший интерес – Россия и Латинская Америка. Латинская Америка, как я понимаю, развивая в порядке модернизации городскую промышленную культуру в виде анклавной адаптации в окружающий мир, подстройки под его ритм (как в России Петр I создавал индустрию на крепостнической аграрно-сословной основе), в то же время обнаруживает собственный ритм. Это, собственно говоря, в рамках шпенглеровского цикла – высокая аграрно-сословная фаза с ее наиболее характерными чертами, с новым культурным стилем, с очень интересными религиозными поисками, вдохновляемыми «мировым страхом», с литературой, творцы коей, как например Маркес, порою сознают свою стадильную современность творцам античного и средневекового эпоса.

– То есть она может стать новой цивилизацией? Или является Великим Лимитрофом Америки?

– Там сейчас, похоже, растет новая цивилизация. Я не исключаю, что в будущем наступление латинос на юг США будет осмыслено в таком же героическом ключе цивилизационной увертюры, как крестовые походы европейцев, испанская реконкиста или взятие русскими Казани и Астрахани.

И очень странное явление сегодня представляет собой Россия – вопреки тому, что думал Шпенглер, считавший, что ей предстоит еще восходить и восходить где-то в даях тысячелетий (для нас это должно быть слишком лестно). На самом деле мы стартовали где-то в XV веке, создали с XV по XVII века свой первоначальный высокий стиль и после этого пережили то, что может соответствовать европейскому Ренессансу. Мы стали имитировать

формы чужой, «ставшей», совершенной и классической культуры, чтобы придать им особые функции и в этих особых, как бы классических формах воплотить свое специфическое содержание. Где-то в XVIII, XIX, начале XX веков мы пережили стадию такой же великой псевдоморфозы, как пережила Европа в XIV, XV, XVI веках, имитируя античные формы и вкладывая в них свое содержание. Мы достигли вершины нашей аграрно-сословной фазы в первой половине XIX века и с его середины вползаем в полосу великой городской революции. Очевидно, как это проявилось – не просто в урбанизации, но и в расшатывании старых форм управления, старых политических форм. 150 лет мы переживаем то, что можно назвать «эпохой тирании» – форм власти, основанных на насилии, захвате и сговоре, импровизируемых под того или иного правителя. Причем началось это с первых министерско-силовиков, выдвигаемых русскими императорами на командные посты и выступающих как реформаторы (Лорис-Меликов, Столыпин). Отсюда уже прямой путь к «комиссародержавию» и диктатурам белых генералов, к Сталину как «наследнику царей», к последующим олигархиям. И сейчас мы живем в эту же эпоху.

Как же с такой точки зрения должен рассматриваться большевизм? Именно как наша Реформация; фаза «Пифагора–Мухаммеда–Кромвеля» может быть доосмыслена как фаза «Пифагора–Мухаммеда–Кромвеля–Ленина». Если в абсолютной хронологии Сталин оказывается современником Гитлера, то в хронологии шпенглеровской, цивилизационно-морфологической он – современник Тюдоров, Борджиа, Людовика XI. Действительно так. Что же тогда нас ждет дальше? Хочу обратить внимание, что теперь я далеко уже вышел за пределы геополитических исследований, но, конечно, толчком к этим цивилизационно-морфологическим исследованиям стала открывшаяся мне на геостратегическом, геополитическом материале способность России существовать сразу в двух ритмах, о чем уже говорилось. Одного момента Шпенглер не отмечал: что вот эта эпоха «Пифагора–Мухаммеда–Кромвеля» характеризуется каждый раз двумя волнами – одна волна катит, утверждая новую вертикаль, освящающую существование городского человека, выпавшего из аграрно-сословного существования; и идет встречная волна, если угодно, попытка адаптировать к условиям существования горожанина ценности аграрно-сословного общества и подверстать его самого под те ценности. В Европе это вылилось в столкновение Реформации и Контрреформации, в Индии – в конкуренцию буддизма с обновленным брахманизмом, в Китае – в противостояние маоизма и близких ему идей конфуцианству, на Ближнем Востоке I тысячелетия – в борьбу ислама с византийским православием. Думаю, если бы мы были просто цивилизацией самой по себе, если бы не было нашего двоеритмия, мы могли бы, конечно, рассчитывать на то, что с большой силой у нас проявится контрреформационная волна, тем более, что такие люди, как Сергей Булгаков, Павел Флоренский, обосновали духовные возможности подобного движения. К сожалению, мы оказались в более сложной ситуации. Большевизм рухнул потому, что Россия не выдержала гнета двоеритмия. Большевики пытались осуществить не просто городскую революцию – они пытались выдержать состязание с Западом одновременно в милитаристской области и области качества жизни, сфере быта. И когда не справились с этими претензиями, наша Реформация оказалась существенно дискредитированной и откатилась вспять. И сейчас мы закрутились в каком-то странном междувременье, когда возникает впечатление, что имманентный наш цивилизационный ритм уже фактически угас, и мы живем исключительно на волнах вызовы-ответ тойнбианского ритма, пытаюсь адаптироваться и встроиться в мир, созданный не нами и на нас в расчете, приспособиться к требованиям и запросам его хозяев. Мое глубочайшее недоверие и неприязнь к этому времени связаны с тем, что «нефтяной бонапартизм», как я это называю, затушевывает, замазывает проблему, перед которой стоит Россия. А проблема в том, как сейчас – в нынешний век, когда нам не предстоит больших геостратегических перемен (судя по тем выкладкам, которые я приводил ранее), когда Россия зависла островом в Северной Евро-Азии, когда наша Реформация уже невозможна (прежде всего потому, повторю, что дискредитированы основные ее послышки, в частности, замечательный образ пролетария, который, будучи отчужденным от своей сущности, в то же

время в своем восстании возвращает эту сущность и вместе с тем спасает мир для новой жизни) – как, по какому пути пойдет наша Контрреформация. Ведь Контрреформация – всегда апелляция к ценностям, к укладу аграрно-сословной фазы. Но у нас было два лика этой фазы: Московская Русь с ее четкой ценностно-культурной гомогенностью и Петербургская ренессансная Россия с ее авторитаризмом, скрепляющим ценностно-гетерогенное, разделенное и расколотое общество. И думаю, у нас могут быть два варианта. Первый – это движение по петербургскому пути, это раскол населения на «белую кость» и «быдло», за которыми закрепятся принципиально различные ценности: различные, но не равноправные. Второй – возможность выхода на путь Московской Руси (которую я высоко ценю хотя бы за моего любимца Филофея) и формирование ценностно-гомогенного общества. Для меня сейчас образами этих двух вариантов, их персонификациями являются, с одной стороны, Ходорковский, с другой – Глазьев. Но, честно говоря, Глазьев, по-моему, не справляется со своей задачей. Вопрос в том, придет ли человек, который справлялся бы с ней и должен бы взять на себя миссию олицетворить политически «народную Контрреформацию».

Когда-то Георгий Федотов, обсуждая возможные пути развития России в XX веке, помимо путей большевистского и эсеровского (который представлял, по сути, разновидность реформационного пути и проиграл большевизму), указывал на два варианта, которые я рассматриваю как два образа народной Контрреформации. Первый у Федотова достаточно страшноватый – это «пугачевщина, санкционированная тронем и поддержанная церковью», с истреблением космополитического дворянства и части интеллигенции, с «черным переделом» земли и трансформацией монархии в подобие фашизма. Второй вариант был назван Федотовым «дело Александра II» – то есть продолжение адаптивно-реформаторского пути «в одеждах Алексея Михайловича», с апелляцией к купечеству и к национальной буржуазии, к наиболее прогрессивным кругам церкви. Большевики фактически смели все слои, с которыми связывались эти варианты. Но, думаю, в XXI веке нам может по-новому засветить та самая народная Контрреформация – как в ее черном, так и в светлом вариантах.

– Но это при условии, что Россия – остров, как вы говорите. А может она в современном мире быть островом?

– Не знаю. Вопрос в том, смогут ли появиться люди, способные совместить две задачи России: так называемой модернизации, адаптации к внешнему миру; и довершения нашей городской революции, формирования у нас прочной городской культуры. Это большая проблема. Тут много аспектов, в частности, схватка между космополитической культурой мегаполисов и сформировавшейся за 150 лет национальной культурой городов. Я написал недавно в одной из своих статей, что фактически лозунгом народной Контрреформации по «московскому» пути могла бы стать такая триединая формула: 1) внутренний рынок, 2) технологическое обновление в ореоле обновления духовного и 3) контроль народа над элитами, «моральное закрепощение элиты» – вот именно так. Нашлась бы сила, которая могла бы это двинуть...

– И какое новое направление вытекает из очерченного вами круга исследований?

– Как ни странно, оно связано сразу и с Тойнби и с Апокалипсисом Иоанна. Года два назад меня заинтересовало удивительное сходство сюжета святого Иоанна с тойнбианским сюжетом, повествующим о конце мировых империй, мировых государств – что, думаю, не случайно. Святой Иоанн жил в ту пору, когда античная цивилизация входила в имперскую фазу, и он помнил, как гибли предыдущие цивилизации такого же рода (например, Ассирийско-Вавилонская), на периферии которой в духовном протесте рождались великие религии будущего, иранский зороастризм и проповеди иудейских пророков. И у него возникает

удивительное предвидение, предчувствие. Образ гигантского Вавилона, так называемой вавилонской блудницы. Надо сказать, что, на мой взгляд, Апокалипсис Иоанна принадлежит к тем текстам, значение которых разъясняется с течением времени. Чем дальше, тем лучше мы понимаем, что хотел сказать Иоанн, что могло стоять за теми или иными его пророчествами. И вот когда он говорит о своем Вавилоне, о том, что на «вавилонскую блудницу» падет ответственность за кровь всех убитых на земле, думаешь: как бы христиане ни ненавидели Рим, едва ли они стали бы валить на него ответственность за кровь кого-то, убитого в Индии, Эфиопии, Африке, среди германцев и так далее. Впечатление такое, что апостол за судьбами Рима, в котором он живет, прозревает некоторую фантастическую для его дней, планетарную имперскую государственность, которая возникнет на Земле, и пытается предвидеть ее судьбу. И что же он предвидит? Эту планетарную государственность, которая все народы отравила блудом своим (фактически оказала на них свое неизгладимое геокультурное воздействие), постигнет то же, что постигало все мировые державы, и по ней будут отчаянно рыдать все купцы Земли, которые ей служили и обожали её, потому что она была их покровительницей. Происходит так называемое восстание «десяти рогов», которые терзают ее, рвут и сокрушают, к горю и печали вот этих купцов...

Если мы обратимся к Тойнби, то увидим, что у него в соответствующей исторической позиции оказываются формирование мировой державы и все тех же внутреннего и внешнего пролетариата, которые, соединяясь, взрывают ее наконец и крушат. Но у Тойнби есть еще один очень интересный момент – указание на то, что в рамках мировых держав формируются и так называемые альтернативные мировые религии, религии того внешнего и внутреннего пролетариата, и потом под их знаком могут происходить попытки возникновения как бы двойников этой погибшей державы (например, империя Карла Великого по отношению к Римской, или еще раньше средневековая Персидская держава по отношению к Ассиро-Вавилонской). Если тут перейти к Иоанну, то можно заметить: у него функционируют два термина – «Вавилон» и «царство зверя», которые толкователи часто смешивают. У Иоанна же ясно сказано: восставшие «десять рогов» разрывают «Вавилон», крушат его, а потом передоверяют себя, вручают свои владения, свои земли вот этому будущему «царству зверя». Таким образом, с точки зрения тойнбианской, можно было бы сказать, что внутри мировой империи должна вырасти альтернативная мировая религия, альтернативная сакральная вертикаль, которая после эпохи больших смут, катастроф, восстаний внешнего пролетариата даст стимул обновить евро-атлантическую мировую государственность, попытаться отстроить ее по-новому, под новой сакральной вертикалью. Вот это то, что меня чрезвычайно заинтересовало, поскольку, честно говоря, я не знаю, входим ли мы с созданием планетарного униполюса в эпоху, для которой былые чередования волн и юг утрачивают свою силу, или они ее по-прежнему сохраняют. Если сохраняют, то тогда где-то к концу нашего века или в веке следующем ожидается всплеск новых великих войн, новых потрясений. И для христианского сознания (если оно уцелеет к тому времени) это было бы как раз то, о чем повествует апостол как о восстании «десяти рогов», сокрушающих мировую державность. Но тогда еще вопрос: а что, собственно, видится ему за этим, там, вдали? Что он называет «царством зверя»? Царство, которое вступит в своеобразный симбиоз с «религией лжепророка» – каковой будет с рогами агнца, то есть будет имитировать традиции старой авраамической религии, фактически имея совершенно другие, весьма хищные и сомнительные запросы... Чрезвычайно интересно, когда то, о чем говорили люди, казалось бы, такие «иррациональные», как апостол Иоанн, может быть рационализировано на языке современной культурологии, современной геополитики и может рассматриваться (будучи переформулированным на этом языке) как некое, скажем так, предупреждение, заставляющее нас быть настороже.

– По отношению к чему?

– По отношению к существующему миру. В принципе мир как он есть должен погибнуть. Вот о чем говорит апостол Иоанн. Больше всего мне понравилась его загадочная фраза, которую толкуют по-разному: «И каждый остров убежал, а гор не стало». Я посмотрел, как это по-гречески, и оказалось, можно перевести по-другому: «И каждый город спасся, а горы исчезли». В принципе, это указание на то, что вершины будущего мира, этой планетарной государственности сущностно, так сказать, обречены, но острова имеют определенные шансы... И так я опять вернулся к своему Филофею, и снова возник передо мною его сюжет, утверждающий, что вселенная, по существу, уже потоплена, но главное – надо устоять на своем острове.

Вот практически то, чем я занимался последние годы. Вот мой взгляд на мир и Россию. В своих публикациях я выступаю за достоинство и главенство геополитики. Я настаиваю на том, что геополитика сейчас у нас необходима просто для того, чтобы утвердить, если угодно, некоторое единение людей, живущих на этой земле, по отношению к окружающему миру. Это ее задача и ее цель.

– Но мы хотим всеобщего понимания, некоего слияния с миром...

– Так думает, например, и человек, который мне очень близок, – Александр Неклесса. Я же знаю, что для русских пафос «всеобщего понимания» и «слияния с миром» слишком часто оборачивается патологией самоотрицания, жаждою – избыть данное русским историческое бытие. В таких случаях я прямо иду на провокацию, утверждая: «Если русский – всечеловек, значит, без остальных можно и обойтись, при нужде произведя их из нас самих». О, какие при этом бывают физиономии! Истинные всечеловеки!

– Скажите, Вадим Леонидович, а что движет вами в ваших исследовательских опытах? Вы работаете для какой-то избранной вами референтной группы, для пользы высокой теории, исходя из задач практики или из собственного научного интереса, для себя? Что для вас является стимулом?

– Я как Чечня – «субъект Аллаха». Кроме шуток – я человек настолько, что называется, одержимый разными стихиями, что не чувствую себя христианским человеком. Меня невозможно шантажировать спасением моей души, потому что для меня это спасение – дело даже не полезное, а просто никакое. Но когда я думаю о русских, то все время спрашиваю себя: «А что у нас как сообщества есть, кроме христианства?». Европа сохранила еще языческое наследие, которое воплотилось в Третьем Рейхе – и ого-го как воплотилось! Не исключено, что там возможна какая-то альтернативная линия, которая способна еще прорасти во что-то грандиозное. В Латинской Америке вообще наследие таково, что не исключено совершенно альтернативное цивилизационное образование. Я не очень высоко ставлю Даниила Андреева, но меня восхищает, что в его «Розе Мира» Антихрист рождается в Латинской Америке, а все оставшиеся верными собираются в Сибири. Понимаете, у этих народов есть их особое наследие, и они могут его реализовать, если осмелятся. Но, простите, когда я вижу всю эту стряпню насчет славянских валькирий, культа Перуна и так далее – это же смешное и малоаппетитное баловство. Взглянем на так называемые тоталитаризмы Запада и наш в XX веке. Они смогли воздвигнуть такую зверюгу на альтернативном христианству базисе. А мы, собственно говоря, ничего не смогли, кроме как развернуть довольно величественное здание, но исключительно на базе иудео-христианской ереси. Понимаете? Поэтому я считаю, что применительно к России даже человек, которому чужд христианский мир или который его ненавидит, должен задаться вопросом: «А что у нас есть, кроме этого?». И я не вижу, чтобы он нашел ответ.

– *Вы ищете?*

– Нет, не ищу. Для меня ответ очевиден: по особенностям моего сознания я естественно вижу себя вне православия и вне христианства вообще, но России как сообщества вне христианства не представляю. И даже почти невероятное новое открытие большевизма не вывело бы русских из христианского духовного поля, в его специфическом искривлении.

– *Вы вступаете в дискуссии? Вас поругивают или, наоборот, поддерживают? Либо вы самостоятельный «остров»?*

– Я обратил внимание: то, что я пишу, часто просто не воспринимается. А если не воспринимается, то в какую я могу вступать дискуссию? Если никто не поймет – значит не поймет. Без комментариев. Если кто-то поймет – тем лучше и для него и для меня. Но причем здесь дискуссии? Я пишу. Я печатаюсь. В очень редких случаях даю интервью или где-то выступаю, но, думаю, такие выступления уже будут единичными. Я человек в это время не востребованный.

– *Кем?*

– Сообществом, в котором существовал. Во всяком случае, так было до сих пор: да, я имел возможность много и свободно печататься (80 печатных листов, не считая филологических работ), имел все блага гласности, но не имел даже подобия благ слышимости. Во мне оказалось достаточно сил, чтобы поставить себя тем единственным поручиком, идущим в ногу.